

ПРОХОР МЕНЬШУТИН



Когда супруги Меньшутины поняли, что своих детей у них уже не будет, они решили взять приемыша. Это была девочка двух с половиной лет, темноволосая, худенькая, большеротая — этакий лягушонок. На какую-то минуту Анну Арсеньевну смутила мысль, что среди детей, которых им показывали, можно было выбрать и покрасивее; но Прохор Ильич твердо остановился на этой, и в следующую минуту сомнения стали праздными: свой ребенок — о чем говорить. Имя девочке было приготовлено давно: Заира; у Прохора Ильича с ним было связано смутное, но глубоко запавшее театральное воспоминание о некой прекрасной героине, о характере страстном, женственно-сильном и ярком. Называя так девочку, Меньшутин словно примерял к ней этот характер. Он подходил к выбору имени как автор, ясно и далеко определивший своих персонажей, — когда убежден, что нельзя назвать человека Павлом, если он явный Валентин, и что женщина по имени Елена обязана, а то и обречена быть красавицей, причиной мужского соперничества. Говорил он такие вещи, конечно, полушутя, но Анна Арсеньевна подозревала, что муж и впрямь подбирал девочку под заготовленное имя; какую одному ему очевидную Заиру вообразил он в этом большеротом заморыше — бог весть. Против имени Анна Арсеньевна ничего не имела, отнюдь, ее только смущали иногда все эти мужнины фантазии. С обычным своим здравым юмором она напомнила ему анекдот про учителя математики, назвавшего дочек Медя и Бися, то есть Медиана и Биссектриса; Прохор Ильич с готовностью подхватил шутку и сам рассказал парочку историй на ту же тему. Насколько он в этом деле серьезен, понять бывало трудно. Он ведь и своему простоватому крестьянскому имени любил давать многозначительное толкование: Прохором звался, оказывается, предводитель древнегреческого хора, первое его лицо, запевала и главный танцовщик, исполнитель и одновременно дирижер-постановщик, — можно сказать, воплощение универсальной идеи артиста. Меньшутин говорил, что, лишь вычитав это из случайного словаря, он окончательно утвердился в выборе профессии. Слушатели посмеивались — впрочем, не вполне уверенно; очевидно, тут была шутка, но в том-то и дело, что с него это могло стать и вправду. Такой уж он был человек.

Он был артист, солист филармонии в областном приволжском городе. Перед войной он начинал играть в драматическом театре, с фронта вернулся прихрамывающий, и это, конечно, затруднило его работу, хотя на сцене Прохор Ильич умел сделать свою хромоту почти незаметной. Скоро он перешел на эстраду, не без успеха вел конференс собственного сочинения, при надобности мог спеть куплеты, пожонглировать и даже показать довольно сложные фокусы. Главным же умением Меньшутина, которое определило его положение на эстраде, была способность к звукоподражанию. Он мог представлять голоса животных и любой музыкальный инструмент; номера его так и назывались: «Соло на балалайке без балалайки» или «Соло на саксофоне без саксофона»; таким же образом он мог изображать гавайскую гитару, скрипку, арфу или валторну; мог, кстати, играть и на настоящих инструментах, но все самоуком, по слуху — нот он не знал. Жена Анна Арсеньевна аккомпанировала ему на рояле. Вообще его отличала азартная жадность до любых новых знаний и умений, пусть даже практически ненужных; на его полках можно было встретить книги по философии и медицине, истории искусств и даже физике, были здесь и редкости вроде старинного Брюсова календаря или «Сонника Мартына Задеки» 1914 года издания; среди его знакомых имелись садовники и циркачи, в том числе один заезжий гипнотизер, который когда-то бежал из румынской тюрьмы, внушив охранникам, будто перед ними важное начальство, и которому ничего не стоило всучить любому кассиру вместо красной тридцатирублевой ассигнации чистенькую бумажку (в виде опыта, естественно, не всерьез). Последнее знакомство, увы, оказалось недолгим, новый приятель Меньшутина внезапно исчез из города; так и осталось неизвестным, успел ли Прохор Ильич приобщиться к его тайному умению. Некоторые говорили, что ему и учиться не надо: в его больших, желтоватых, с влажной поволокой, как у красивой женщины, глазах светился какой-то завораживающий огонек, и, встречаясь с ним взглядом, люди испытывали странное смущение. К счастью, он имел привычку говорить, не глядя на собеседника, — словно прислушиваясь к своим, внутренним мыслям, которым посторонние впечатления только мешали.

У него была несоразмерно крупная голова с высоко облысевшим лбом; тело казалось из-за этого коротким, хотя стоило ему стать с кем-то рядом — и обнаруживалось, что он

по меньшей мере среднего роста, даже несколько выше. Лицо было не полное, но круглое по устройству черепа; шишечка толстоватого носа чуть сдвинута вправо; на подбородке и над неровной верхней губой — ямки-бороздки, такие глубокие, что в них то и дело оставалась недобрита щетина. Несимметричное это лицо порой могло выглядеть нервным, напряженно-энергичным, но в каком-то повороте освещения оно словно разглаживалось, становилось невыразительным, мягким, почти бабьим. Столь же странно-двусмысленным был голос Меньшутина; на сцене хорошо поставленный благородный баритон, в обычном разговоре он оказывался неярким, суетливым, сипловатым; так трудно бывает узнать певца, когда он изъясняется повседневной прозой. Этот обыденный голос, пожалуй, больше подходил к прозаической внешности Прохора Ильича, к его носу-картошке и вечно растрепанным волосам; благородный баритон вызывал несколько даже комическое несоответствие, каковому Меньшутин отчасти и был обязан своим успехом в роли конферансье.

Но уж что действительно способно было вызвать смущение — так это его характер. Определеннее всего судили о Меньшутине люди, недолго его знавшие, а таких было большинство, — он был общителен, но непривязчив. Говорили о нем как о человеке способном, даже по-своему талантливом — но как об одном из тех нередких на Руси «вообще» талантливых людей, которым словно какой-то неясный зуд мешает осуществить свои возможности в серьезном положительном достижении; до седых волос они лишь пробуют силы — может быть, от чрезмерной широты, от неспособности удовлетвориться одной частной областью, удержаться на одном месте и сосредоточиться на одном умении, может, от пренебрежения к житейской реальности — в фантазиях о чем-то теоретическом, неопределенно-великом. Меньшутин был слишком невнимателен к повседневной прозе, а уж тем более к обычным артистическим хлопотам и интригам, без которых в этой своеобразной среде, видно, не обойтись; при весьма порывистом темпераменте он был чересчур уступчив и неделовит, а в результате всю жизнь оказывался обойден и ролями, и квартирами, и путевками. Некоторые находили в нем черты типичного чудака-неудачника — впрочем, по-своему счастливого, ибо сам он как будто не замечал ущемленности и многочисленные истории своего невезения рассказывал с привычным юмором.

Например, о том, как в войну, которую Прохор Ильич начинал санитаром в прифронтовом госпитале, он однажды потерял мочу знаменитого генерала. То есть, если выразаться точнее, разбил пузырек, доверенный ему для доставки в лабораторию, — а потом стоял навтыяжку перед начальником госпиталя (Прохор Ильич изображал все это весьма картинно) и, не понимая, почему тот воспринял событие так трагически, с заиканием, которое иногда появлялось у него от волнения, бормотал в свою защиту: «Так он еще может...»

Или, скажем, историю, объяснявшую происхождение его хромоты, тоже фронтovou, когда Меньшутин служил уже в пехоте (он давно, по его словам, рвался из госпиталя, но лишь после случая с мочой был наконец с удовольствием отпущен) и товарищи послали его в деревню за самогоном. Потом только он понял, что то была шутка, розыгрыш, никто и не ждал, что он всерьез отправится к указанной ему крайней избе (якобы обитавшая там бабка-самогонщица была просто выдумкой остряков, игрой, так сказать, их веселого воображения). И уж конечно, никто не мог ждать появления у околицы шального немецкого мотоциклиста; промчав мимо первых изб и поняв свою ошибку, он тут же рванул назад, и единственной жертвой его единственного, с перепугу, выстрела оказался Прохор Ильич Меньшутин. Но самое-то интересное — из-за пазухи у него подоспевшие товарищи извлекли зеленую литровую бутылку, полную самого настоящего, еще теплого самогона, причем очевидцы подтвердили, что он никуда не заходил, кроме той самой крайней избы...

Такие вот истории он о себе рассказывал; может, присочинял, но может, и нет; происшествия были в его духе. Он до сих пор отличался забавным простодушием, держался со всеми как младший по возрасту, радовался любой возможности услужить; показать встречному дорогу было для него удовольствием — он делал это со вкусом, готовый проводить до самого места и чуть ли не поблагодарить за то, что к нему обратились. При не лишенном внушительности внешнем виде во всей повадке Меньшутина проявлялось по сравнению с любым из коллег его возраста что-то несолидное, школьное — как в слове «промокашка» рядом со словом «пресс-папье». Он так и шел по жизни — с подрагивающей смущенной улыбкой на неровных напряженных губах, точно извинялся перед всеми за свою неловкость, незадачливость. В невезении своем Прохор

Ильич был убежден фатально и, когда ему предлагали разыграть с кем-либо по жребию путевку или, напротив, малопривлекательную гастроль в подшефный район, заранее соглашался считать себя проигравшим. Если же кто-то настаивал на подтверждении, Прохор Ильич подбрасывал монету, и она у всех на глазах три раза подряд неизменно падала вверх решкой — зрители только сочувственно разводили руками, а Прохор Ильич, втянув голову в плечи и, по обыкновению, ни на кого не глядя, для вящей убедительности продолжал подбрасывать монету — и она падала вверх решкой пять, десять и пятнадцать раз подряд, издеваясь над утешительными законами вероятности... Вот тут-то присутствовавшие начинали испытывать неясное смущение, в туманной улыбке Меньшутина готова была почудиться двусмысленность, и хотя сам же он, словно извиняясь за допущенную нелепость, поскорее возвращал разговор к чему-то более достойному, те, кого этот привкус двусмысленности, сомнительности настигал неоднократно, уже не могли просто от него отмахнуться, так что чем дольше знал человек Прохора Ильича, тем менее уверенно брался он о нем судить. Особенности же сомнения испытывала иногда жена Меньшутина, Анна Арсеньевна.

Это была миловидная, девически стройная женщина с прекрасными рыжеватыми волосами, которые она безжалостно укорачивала, чтобы не тратить лишнего времени на прическу, но которые, несмотря ни на что, сохраняли неукротимую пышность. Лицо ее с нежно-белой кожей, какая бывает у рыжих людей (к весне на ней собирались проступить веснушки, но так и оставались непроявившимися, как на недодержанной фотографии), обладало способностью краснеть в самую неожиданную минуту, когда Анна Арсеньевна вовсе и не думала смущаться; от этого она в самом деле смущалась и, досадуя на себя, старалась держаться и говорить в такие минуты с подчеркнутой независимостью, отчего становилась лишь более привлекательной. Ум у нее был насмешливый и куда более трезвый, чем у мужа; если Прохор Ильич добился какого-то положения, то во многом благодаря ей. И дело не в том, что она обладала большей хваткой, — для себя ей ничего особенного не было нужно, она была из тех людей, что на званом ужине берут себе от общего пирога самый маленький ломтик — и не только потому, что вообще мало едят, — им так просто даже приятнее; ее не тяготила теснота маленькой

комнаты в коммунальной квартире, где после десяти запрещалось играть на пианино, свою очередь на новое жилье она уже уступила однажды шоферше с ребенком. В этом смысле она была под стать мужу. Но она не могла смотреть, как ущемляется его самолюбие; она любила его, и она переживала, видя, что сам он как будто не способен был это понять. Когда в театре, где прежде работал Прохор Ильич, не постеснялись воспользоваться его талантом звукоподражания и пригласили изображать за кулисами в каком-то детском спектакле собачий лай и петушинный крик, а он согласился — он просто не умел отказываться, и главное, не считал унижительным лаять за кулисами сцены, где ходил когда-то полноправным, пусть и не на первых ролях, актером, — Анна Арсеньевна не позволила ему этого делать. Если б еще хоть кто-нибудь способен был оценить, каким искусством на самом деле был его лай! Никто не мог сравнить его с природными голосами, никто, кроме Анны Арсеньевны, не подозревал, как глубоко постиг он тонкости звериного языка; он различал и мог воспроизвести их ласку, умиленность, гнев, предостережение, он мог заставить ворона в небе задержать свой полет и снизиться, издав гортанный, металлически-резкий крик; коза, привязанная к колышку, начинала нетерпеливо рваться навстречу его голосу, зяблики и чижи заводили с ним простодушные дуэты, ласточки ныряли в свои лепные гнезда, когда он говорил им об опасности, и голенастые лоси величаво неслись к нему сквозь осенний лес, ломая сухие ветки...

Она была влюблена в своего мужа, верила в его незаурядность и, в отличие от других, подозревала, что сам он вовсе не лишен честолюбия, может быть, крайнего, чрезмерно общего. Ее то и дело озадачивала его склонность вводить самые простые жизненные вещи и события в переплетении многозначительных символов, ассоциаций, теорий.

Одна из наиболее занимавших его идей была связана со значением имени Прохор, смысл которого он для себя со временем уточнял.

— Это все-таки не актер, не деятель сцены, я убеждаюсь. Это был участник древнейшего действия, понимаешь? Не спектакль, не искусство — эпизод жизни, возведенный в степень искусства, — вот его сфера. Когда нет отдельно зрителей и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют — они живут по законам игры, по мифической схеме. И как

живут!.. то есть жили... Ах, черт возьми! Они плакали настоящими слезами и смеялись настоящим смехом, они могли по-настоящему умереть в экстазе, разыгрывая неизвестно кем сочиненный сценарий. И переставали хоть на это время быть глиной, повседневным месивом, удостаивались формы — формы, понимаешь?.. — и направляли все это его пальцы, пальцы Прохора. Хоть он вроде и сам был всего лишь частицей той же глины... А?! Когда думаешь об этом, ясно, почему тебя так давит коробка сцены... кулисы, задник, зрительный зал где-то под ногами, — это, право, сковывает. Я — Прохор, сцена не по мне, в ее рамках я не могу до конца осуществиться, оформиться, стать самим собой. Не знаю, не знаю... В прежнем виде — как праздник, мистерия — все это, разумеется, ушло, да и не в греках дело. То, что осталось: какие-нибудь обряды, масленица, — жалкие отголоски... Я ведь еще помню, — баритон Прохора Ильича размягчался от воспоминания, — я помню ряженных, коляды, кулачные бои на реке, стенка на стенку. Я ведь вырос в маленьком городишке. В сущности, я провинциал. Это чувствуется. Иногда мне кажется, что в таком вот городке, где все друг друга по-соседски знают, мне и сейчас было бы проще. Там можно бы что-то попробовать, там живешь по-другому. Там все может произойти. Наша российская провинция, знаешь ли, край фантастический. А? Иногда приходит на ум бог знает что...

Он говорил, глядя внутрь себя, изгибая в неровной улыбке уголок большого рта, мял, похрустывая, свои крупные подвижные пальцы. Анну Арсеньевну такие разговоры заставляли насторожиться.

— Все это слишком сложно для женского ума, — говорила она, прищурясь. Готовая любовно восхищаться обширностью его познаний, она сомневалась, на пользу ли артисту такая эрудиция, а главное — она боялась обнаружить за этими премудростями и фантазиями самооправдание неудачника, комплекс лисицы, не сумевшей дотянуться до винограда. Каждый раз, когда он возобновлял свои туманные, осторожные намеки, Анна Арсеньевна охлаждала его здоровыми и насмешливыми доводами. Прохору Ильичу это всегда нравилось, он защищался мягкими остротами, начиналось их обычное веселое пикирование, заставлявшее обоих все больше восхищаться друг другом и заканчивавшееся объятиями и нежностями, потому что кто-



кто, а они с годами ничуть не утратили способности и вкуса к любовному сумасбродству.

Анна Арсеньевна была влюблена в своего мужа. Если б она знала наверняка, что ему надо! Действительно ли ему хочется оставить сцену? Действительно ли его самолюбие не трогают повседневные уколы? Ведь даже продавщицы и кассирши в магазинах считали своим долгом обвесить и обсчитать его — как будто на взгляд чувствовали, с кем имеют дело. Анна Арсеньевна пыталась и тут воздействовать на него иронией — и наконец дождалась: впервые услышала однажды, как он ругается в магазине с продавщицей.

— Ну это уж совсем наглость, — говорил он своим сценическим благородным баритоном, с некоторой дрожью волнения. — Я понимаю обвесить на пять граммов, ну на десять, как всегда. Но сразу на полкило... это извините...

— Почему... да вы что? — бормотала растерянная продавщица. — Вы же выбили за килограмм.

— Совершенно верно. Килограмм сахару. Я специально два раза повторил.

— Ну?

— А у вас что весы показывают? Пятьсот граммов. Смотрите. Даже четыреста девяносто пять. Думаете, опять промолчу? Нет уж, виноват. Молчал — но надо и честь знать.

— Так я на другую сторону еще гирьку положила, — все еще ошарашенно оправдывалась продавщица и в доказательство даже приподняла эту гирьку. — Вот, полкило...

Анна Арсеньевна стояла поодаль у кассы и видела, как Прохор Ильич словно даже в росте уменьшился; забормотал извинения уже другим, осевшим и как бы скомканным голосом, подхватил свой злосчастный кулек и попятился от прилавка, сопровождаемый напутствием продавщицы, которая наконец овладела подлинным тоном и стала прохаживаться насчет «интеллигентов несчастных», насчет «нужны мне ваши копейки» и, увы, как это ни банально, насчет шляпы, которую Прохор Ильич то и дело нервно поправлял на голове. Он пятился, с нелепой улыбкой кивая головой, — не то признавая вину, не то раскланиваясь, — пока не нашел взглядом Анну Арсеньевну (казалось, он готов позвать ее тем автоматическим жестом, каким всегда представлял публике своего аккомпаниатора), быстро подхватил ее под локоть и поспешил ретироваться. Лицо Анны Арсеньевны пылало, она готова была поколотить этого

нескладного человека, но, когда они вышли — почти выбежали из магазина, ей стало вдруг смешно, и Прохор Ильич, который все отдувался, покачивая головой и отирая платком высокий лоб под шляпой, тоже неуверенно хмыкнул... Больше она к этой теме возвращаться не рисковала.

Примерно в ту же пору, когда начались разговоры об уходе со сцены, Прохор Ильич загорелся мечтой о дочери; казалось, эти две идеи были для него связаны. Тут Анна Арсеньевна ничего не имела против; она лишь вносила корректив в ту полную символов многозначительность, с какой он, по обыкновению, обставлял это решение. Для нее все называлось словами более простыми, но не казалось от того менее прекрасным. Оба они были тогда еще достаточно молоды, однако им пришлось без малого полтора года поволноваться, пока Анна Арсеньевна не убедилась, что забеременела. Это было время их самой счастливой близости, когда они чувствовали себя настолько слитными, что слышали мысли друг друга издали, без слов; находясь в разных концах города, они физически ощущали, как их тянет, тянет друг к другу — на трамвае, потом пешком, бегом по тесным дремучим переулкам, тянет, приподнимая над поверхностью земли, сквозь тихий звенящий воздух, так что они могли бы находить направление не глядя, двигаясь словно по невидимой силовой линии — напрямик, с досадой огибая углы, как ненужное препятствие, — чтобы наконец соприкоснуться, прижаться, вжаться друг в друга и вновь стать одним целым...

Вздорная соседка, запрещавшая им по вечерам играть на пианино, как раз в ту пору написала на них заявление, полное туманных фраз о «людях, пренебрегающих правилами общежития в период, когда мы идем к торжеству новой морали». Анна Арсеньевна не сразу поняла, почему при этом была упомянута тонкостенность перегородки между их комнатами, а когда поняла, покраснела, как никогда в жизни. Дело в том, что их двухэтажный, с надстройкой, дом представлял неумышленный строительный шедевр своей редкостной сейсмической чувствительностью. Не только проход трамвая по отдаленной улице, но даже детские прыгалки во дворе отзывались звоном стаканов и рюмок в буфете, дребезжанием стекол в плохо промазанных окнах, а иногда — если удавался резонанс — и звуком той или иной струны пианино. О знаменитом ашхабадском землетрясении

Меньшутины узнали до всяких газет — с подробностями о часе и минуте и примерной силе толчка, от которого упала с буфета и разбилась фарфоровая статуэтка балерины. Впервые догадавшись, какое беспокойство доставляет соседке их счастье, Анна Арсеньевна почувствовала себя до беспомощности виноватой. Соседка была пожилая дева с фантастической фамилией Лунацик. Прохор Ильич, верный своей теории, предположил, что из-за фамилии она и осталась в девицах, на что Анна Арсеньевна резонно возразила, что ее родителям та же фамилия не помешала произвести потомство. На что Прохор Ильич тоже не без резону заметил, что родительница Лунацик вряд ли имела вдобавок имя Индонезия Семеновна. Тут уж Анне Арсеньевне пришлось с ним согласиться. Но в своем имени бедная Лунацик была не виновата. Анна Арсеньевна просто не знала, как ей угодить и чем утешить.

Так она всю жизнь и жила — с ощущением вины за счастье, которым не вольна была поделиться со всеми. А какое у нее было особенное счастье? Такой палец покажи — засмеется.

За полтора года ожидания Анна Арсеньевна несколько поутратила былую уверенность, заразилась от мужа нервностью, даже стала чуточку суеверной. С нетерпением дожидалась она поры, когда в узком просвете между домами перед их окошком появится полная луна, чтобы подставить ей свой набухавший живот, — теперь ей тоже хотелось непременно девочку. Впрочем, она не сомневалась, она чувствовала, что так оно и будет. В ней развилось необычное чутье, она различала насквозь все плодоносящее, всякую завязь и полноту. «Неужели ты не видишь?» — приводила она в смущение мужа, заставляя его уступить место в трамвае совсем еще стройненькой девочке. Да и сама девочка смущалась — ни разу Анна Арсеньевна не ошиблась. Было начало лета, она смотрела на отцветавшие вишни, трогала пальцами белые цветы и, чуть отколупнув, заглядывала внутрь, туда, где на цветоножке начиналась толстенная зеленая завязь, — смотрела и тихо улыбалась; иные цветы были пусты, их красноватые черенки покрывали перекопанную густо-коричневую землю, она улыбалась с чувством жалости к этим неплодотворенным цветам и стыда за свое счастливое превосходство. Но и оплодотворенные цветы постепенно жухли и отпадали — сначала с вишен, затем с яблонь, оставляя после себя почти

незаметный точечный след, черное пятнышко на будущем яблоке, на противоположном конце от стебля-пуповины — черную точку вместо белого прекрасного цветка, — отпадали, умудряя Анну Арсеньевну грустной мыслью о судьбе родителей в детях. Были среди плодов и такие, что начинали завязь, вырастали до размеров вишневой косточки, потом вдруг тоже теряли силу и усыхали зелеными; тогда вновь вспоминалась тревога и нервность...

Самой Анне Арсеньевне еще долго не уступали места в трамвае, особенно если она была в пальто. Однажды они с Прохором целовались на скамейке в сквере и, поднявшись, увидели, как озадаченно приоткрыла рот косившаяся на них тетушка. «Современная молодежь, — прокомментировал за нее Меньшутин, — пять минут поцеловались на скамейке — и уже с животиком...» Это был тот самый день, когда Анна Арсеньевна увидела перед выходом из сквера черную кошку, она пролезла сквозь низкую решетку и перебежала к противоположному газону. Анна Арсеньевна невольно замедлила шаг и придержала за локоть мужа — сама посмеиваясь над своим трусливым суеверием. Оглянувшись, она увидела за собой студента в очках, он читал на ходу учебник. «Пусть обгоняет, — подумала Анна Арсеньевна. — В худшем случае получит переэкзаменовку, невелика беда». Тем более что кошка бежала справа — для мужчины это сводило опасность приметы до минимума. Студент шел медленно; оглянувшись еще раз, она увидела, что их обоих нагоняет мальчишка, держалкой из гнутой проволоки он вел визжащий ржавый обруч. До мысленной линии — следа кошки — оставалось уже несколько шагов; Анна Арсеньевна, вдруг застыдившись сама себя (и лицо тотчас вспыхнуло), поскорей потянула углубленного в свои мысли мужа к этой черте — сама продолжая оглядываться на мальчика и все посмеиваясь над этим глупым соревнованием; она не заметила резвой девчушки лет пяти, которая все вырывалась из рук бабушки, сидевшей на скамейке, наконец вырвалась и с разбегу ткнулась головой в живот Анны Арсеньевны. Это было не так уж больно, однако сердце Анны Арсеньевны захолонуло от страха. Она сумела улыбнуться и погладить девочку по головке. «А если б мы с тобой были паровозы?» — мягко сказала она. Тут беглянку настигла бабушка, засуетилась: «Негодница, вот скажу тете с дядей, они тебя возьмут». — «Зачем? — не поддержала ее воспитательного обмана Анна Арсеньевна. — У нас скоро

своя будет». (Потом в больнице сказали, что была действительно девочка.)

До вечера она прислушивалась к себе: все было нормально; и даже почувствовав себя к вечеру плохо, долго боялась признаться в этом. Прохор Ильич отвез ее в больницу слишком поздно. Впрочем, это все равно уже ничего бы не изменило...

Несчастье Анна Арсеньевна перенесла стойко, только из характера ее исчезла былая легкость, да и здоровье долго не выправлялось. Прохор Ильич трогательно ее утешал: «Постараемся еще разок, верно?» Они любили друг друга теперь, быть может, сильнее, чем прежде; бедная Луначик, внезапно подобревшая к ним после несчастья, уравнившего их, встречала их по утрам выжидательным взглядом, как бы спрашивая: «Ну что, все в порядке?» Но был в этом уже привкус надрыва. Оба извели себя, пока не получили подтверждения, что ждать им нечего.

Почти через три года после случившегося они взяли себе приемную дочь. И сразу же вслед за этим оставили свой город, работу и жилье, чтобы переселиться в места, где никто и никогда не мог бы сказать ни девочке, ни им самим, что дочь у них неродная.

Так у них было условлено с самого начала, но Анна Арсеньевна думала, что они переселятся в такой же областной центр с театром, с филармонией, с эстрадой, — Прохор Ильич имел приглашения. Он поехал куда-то выяснять условия, а вернувшись, огорошил ее известием, что нашел место директора Дома культуры в никому не известном крохотном райцентре, от самого названия которого — Нечайск — веяло замшелой провинциальностью, пыльными улицами, гераньками на окошках и колесным скрипом... Так, значит, все эти туманные, осторожные разговоры, необязательные фантазии, от которых она старалась его отвлечь — и казалось, совсем уже отвлекла, — все это было для него всерьез, а теперь оборачивалось всерьез и для нее? — думала Анна Арсеньевна, слушая его виноватые объяснения.

— Тебе там тоже найдется работа, — говорил он. — Будешь преподавателем или даже директором музыкальной школы. Ты ведь раньше преподавала, и, по-моему, тебе это нравилось больше, чем концерты. Аннушка, будем откровенны: тренькать до пенсии на балалайке без балалайки — не предел моих мечтаний. Если захочешь, я буду исполнять эти номера каждый вечер лично для тебя. Или даже научусь играть на настоящей балалайке. Хотя для меня это еще менее интересно. Надо однажды вырваться, это не так страшно, как кажется. Страшнее инерция...

Значит, так оно и есть, думала Анна Арсеньевна. Значит, ее не обманывало чувство, что Прохор тяготится своим положением, — но она словно ждала еще окончательного доказательства. «А что же предел твоих мечтаний?» — хотела она спросить, но не стала — пожалела лишний раз язвить, да и ответил бы он каким-нибудь расплывчатым философствованием — то ли не желая до поры выдать слишком сокровенный замысел, то ли сам смутно его представляя...

— Это удивительный городок, — говорил он между тем шепотом, потому что рядом, в уголке за платяным шкафом, спала Заира; они еще не успели привыкнуть к звуку ее дыхания, и шепот их был преувеличенно осторожен. — Ты увидишь. Лес, тишина, игрушечный монастырь над озером. Декорация для сказочного спектакля... Конечно, денег у нас будет поменьше. Зато и жизнь там несравненно дешевле.

У всех свои овощи, свое молоко. Мы тоже можем завести корову.

— Боже, о чем ты говоришь! — всплеснула своими прекрасными руками Анна Арсеньевна.

— А что, я всю жизнь мечтал иметь свою корову. Нежнейшее воспоминание детства: теленок лижет щеку... И главное, Аннушка: вместо коммунальной квартиры — дом, целый собственный дом с участком, и никаких землетрясений, никаких соседей за стеной. Совсем за бесенок, я уже сговорился. На самом краю города, у леса. Прямо за забором начинаются сосны, шишки падают в огород, ими можно растапливать самовар.

— Но у нас нет самовара.

— Будет, это уж непременно будет! Ты пила ли когда-нибудь чай из самовара, поставленного сосновыми шишками, бледная ты моя горожанка?

— Пила, — усмехнулась Анна Арсеньевна. — На даче.

— На даче! А тут — в любое время. Ты поправишь там свое здоровье. Там воздух пахнет витамином «С», а когда проходит дождь, он успевает так пропитаться этим ароматом, что воду можно пить как целебный настой. Подумай, наконец, как хорошо там будет девочке...

Когда он говорил так, ухитряясь даже в шепоте сохранить убеждающую бархатистость, говорил, глядя на нее своими глубокими, с влажной поволокой, глазами, Анна Арсеньевна готова была поверить, что он и впрямь успел овладеть искусством гипноза.

И еще — потом, когда все было решено и она ударилась в спешные хлопоты, — ее поразила вдруг мысль, что при всей своей видимой разбросанности и уступчивости он в конечном счете всегда добивался своего — как будто настолько не сомневался в этом своем, что его не заботило, какими путями, в какие сроки и с какими подробностями оно осуществится. Анна Арсеньевна так и замерла от этой мысли перед грудой разнокалиберных кастрюлек, которые она как раз пыталась покомпактней разместить одну в другой; потом усмехнулась и качнула головой. Может быть, может быть. Он умел подтолкнуть события как бы ненароком; Анна Арсеньевна ловила его на совершенном мальчишестве: ему нравилось кашлянуть на концерте в самый проникновенный момент тихого скрипичного соло, чтобы вызвать во всем зале неизбежную эпидемию ответного кашля. Поди пойми его. Ей вспомнилось, как в какой-то момент разговора в черной

глубине его зрачков зажглись два точечных желтоватых фонарика... Может, и впрямь вела его какая-то мысль, какая-то идея; мужчинам всегда надо нанизать жизнь на какую-то идею, они не могут — просто жить... А может, он своим решением всего лишь пытался смягчить, оттянуть признание собственной несостоятельности?.. Снова она ни в чем не была уверена. Но тут же — стоя с двумя эмалированными кастрюльками в руках — она поняла вдруг еще и иное: что для нее это уже не имеет прежнего значения, для нее теперь было не так уж важно, где жить и чем заниматься; смысл жизни переместился ближе, все самое главное было — и будет отныне — рядом, там, где тихо играла кубиками маленькая смуглая девочка с темными кудряшками; к измазюканной щеке ее прилипло коричневое яблочное семечко, сосредоточенное сопение было сладко слуху и вызывало во всем теле теплый прилив нежности.

И все-таки, сидя с Заирой на руках в кабине дребезжащей полуторки, Анна Арсеньевна испытывала щемящую тревогу; она словно предчувствовала, что едет сюда насовсем, — хотя бы потому, что у нее уже не останется духу выдержать обратный путь — по ухабам, как по морским волнам, только вместо податливой воды — жесткая твердь, которая подбрасывает, перетряхивает мысли; едва сложившиеся в уме фразы распадаются на мелкие обрывки, соединяются невпопад — начало одной с концом другой, — образуя в голове сумбур, так что ни о чем нельзя связно думать и какая-то мутная тяжесть никак не осядет в душе. Они ехали от станции три часа по тракту, мощенному в прошлом веке, — пятьдесят два километра сквозь оплывающий сентябрьский лес, мимо просек-гатей, ведущих к лесозаготовкам, поднимая за собой непроглядную завесу пыли, ныряя едва ли не вниз радиатором в выбоины, заполненные водой. Машина при каждом ухабе начинала было разваливаться, но следующий ухаб вновь прижимал ее части друг к другу, и не было уверенности, что очередной толчок не рассыплет ее окончательно. Прохор Ильич мотался в кузове, придерживая вещи и сам держась за них. Наконец из-за горба дороги показался первый дом — так встречный корабль появляется из-за горизонта, подтверждая факт шарообразности Земли: сначала труба, из которой, несмотря на жаркий день бабьего лета, шел дым, потом конек крыши, за ним окна в сказочных резных наличниках и решетчатый палисадник. У въезда в город стоял зачем-то красно-белый



шлагбаум; усатый инвалид неторопливо поднял его и сразу, едва не царапнув задний борт, опустил — точно боялся, что они выскользнут обратно; несмазанный механизм по-звериному взвизгнул, и звук этот, отсекавший путь назад, заставил Анну Арсеньевну зябко поежиться.

Это был тихий зеленый городок, узко вытянувшийся вдоль озера. На высоком берегу стоял бывший монастырь с двумя покалеченными церквушками, от его кирпичной ограды, за Базарной площадью, начиналась центральная улица с главными городскими учреждениями и магазинами; здесь всегда прогуливались в надежде на подачку самостоятельные непугливые собаки — словно полноправные пешеходы со своими заботами, только иной породы, чем люди. Дальше от центра дома мельчали, вдоль заборов тянулись пружинистые деревянные мостки. Крайние улицы вовсе поросли травой, по ним ходили стайками куры и гуси, меченные анилиновыми красками, по вечерам возвращалось с лесных выпасов стадо, а ночью без надобности постукивал колотушкой невидимый сторож.

Дом, где поселились Меньшутины, не только стоял на краю леса — лес уже перешагнул за изгородь; одичалые вишни и сливы стояли посреди березовой и ольховой поросли, а между стволами возвышались укрытые травой холмики некогда высоких ровных грядок. Хозяева давно здесь не жили; Меньшутин был едва ли не первым, кто за последние годы переезжал в Нечайск, обычно отсюда уезжали, ибо жизнь здесь конечно же не была такой простой, как он расписывал издали. Промышленности тут было — небольшой крахмальный заводик; кормились больше со своих участков да от озера. Городок существовал скромно, обслуживая в качестве районной столицы окрестные деревни, ничего особенного не требуя от окружающего мира и ничего особенного ему не предлагая.

Прохор Ильич первое время с азартом принялся хлопотать по дому, доставал дрова на зиму, обзаводился недостающими и необходимыми здесь вещами вроде лопаты, пилы и сапог, приводил в порядок обветшалый забор и сарайчик, причем руки его оказались ловки и к топору, и к прочему инструменту, словно он лишь вспоминал давнюю свою сноровку. Но постепенно все больше дел переходило к Анне Арсеньевне; энтузиазм Меньшутина переключался на дворец — так он неизменно величал свой Дом культуры.

Даже не Дворец культуры — просто: дворец. Иду во дворец, говорил он и в телефонную трубку отвечал с достоинством: дворец слушает. Дворец располагался в большей из двух монастырских церквей — весьма безвкусном строении начала века, в новорусском стиле, с кирпичным орнаментом на манер вышивки крестиком. Центральный купол церкви был снесен и основательно залатан жостью, зато сохранилась пара несимметричных шатров, один с луковицей, другой без. Как ни странно, в таком виде церковь приобрела своеобразное очарование, во всяком случае, Анна Арсеньевна согласилась увидеть в ее угловатой кривобокости что-то фантастическое, хотя и мало напоминавшее дворец — разве что вечером, когда не видно было залатанной прорехи и снизу, из городского парка над озером, колючий силуэт ее рядом с островерхой колоколенкой казался высоко поднятым на фоне перламутровых закатных облаков.

Первые хлопоты Меньшутина были о ремонте, но, когда ему отказали в средствах, он, по обыкновению, стушевался (над головой пока, слава богу, не капало) и весь пыл обратил на организацию самодеятельности. Уже к Новому году его драмкружок представил два чеховских водевиля, и они настолько понравились, что на втором представлении в большом зале впервые не хватило стульев для зрителей; до весны многие посмотрели спектакль трижды и четырежды. Прохор Ильич пережил успех рассеянно, воодушевленный уже дальнейшими планами. Одним из них была постановка «Золушки» — в настоящих костюмах и декорациях; но этот замысел требовал времени, и Меньшутин пока начал подготовку другой своей давнишней идеи. Он вывесил объявление о лекции «Народные праздники, обряды и зрелища» (с подзаголовком в скобках: «Старое и новое»). На лекцию было приглашено районное начальство. Выступал Прохор Ильич безо всякого конспекта, часов перед собой не держал и конечно же с самого начала увлекся вступительной частью: рассказом о древних праздниках плодородия с их безоглядным разгулом — ибо обжорство, разнузданность и сквернословие считались залогом будущего урожая, об элевсинских мистериях, где каждый раз заново переживалась и разыгрывалась история похищения Кору Плутоном, — словом, о том, что уже раньше приходилось слышать Анне Арсеньевне. Собственная речь все больше захватывала его, ему казалась примечательной любая подробность, и, упомянув, к примеру, о культе Диониса, бога творческих сил природы, он уже не мог удержаться и не нарисовать

перед слушателями наглядную картину восторженно-яростных ночных радений при свете факелов, когда под звуки флейт и тимпанов одетая в звериные шкуры, с рогами на головах свита Диониса доводила себя до иступления, разрывала на части жертвенного козла и потрясала корзинкой с новорожденным фаллом — символом желанного плодородия... Дойдя до этого места, Меньшутин взглянул наконец на часы и обнаружил, что использовал уже большую половину отведенного ему времени (после лекции был обещан бесплатный фильм). Тогда совсем скороговоркой он проскакал по средневековым карнавалам и русской языческой масленице, упомянул гоголевских парубков, исполняющих в майскую ночь насмешливые песни у хаты головы, однако избыток эрудиции и здесь заставил его отвлечься, углубиться бог знает в какие ассоциации, так что главный, заключительный его призыв — возобновить на современном уровне праздничные традиции — прозвучал уже и вовсе под шумок, на излете, как у человека, которому надо завершить длинную фразу на одном оставшемся выдохе...

Подробности ему пришлось объяснять на другой день в кабинете районного секретаря Колесникова. Это был худой усталый человек в армейском кителе, по горло занятый хлопотами с надвигавшейся посевной; отвлекаться на всякие заскоки ему было сейчас куда как некогда, однако в речах завклубом, которого он в общем-то готов был уважать как культурного человека и которого считал удачным приобретением района, особенно после постановки спектакля, ему почудилась не совсем ясная, но все же сомнительность; на всякий случай Колесников обязан был дать ему понять, что здесь тоже люди грамотные. Он говорил с медлительной четкостью, отмечая абзацы своего рассуждения постукиванием спичечного коробка по столу, и от этой четкости собственная мысль казалась ему все более несомненной, а подозрения — все более оправданными. Прежде всего, сказал он, что это за неприличные слова на лекции, где присутствовали, между прочим, и подростки-школьники? Тот факт, что назывались эти слова на древнегреческом языке, мало что меняет, — у нас, когда надо, все умеют перевести. Более чем неуместным счел он также сочувственное упоминание пьянства и сквернословия, которого в Нечайском районе, слава богу, хватает и без лекций; о возрождении каких традиций, спросил он, идет тут речь? Да и в разговорах о старинном обжорстве прозвучала, мягко скажем, безответственность. Наконец, не совсем

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)